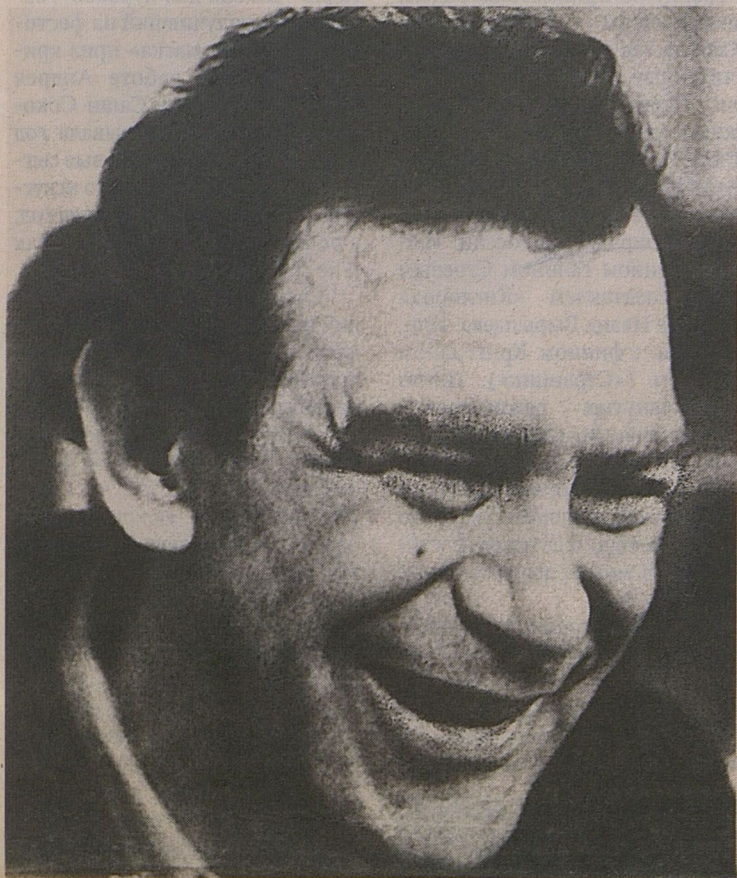


Ирина Уварова-Даниэль о Юлии Даниэле

«Надзирателей он не боялся, а боялся комаров»

Сегодня Юлию Марковичу Даниэлю исполнилось бы 80 лет. Его имя, так громко прозвучавшее во время знаменитого процесса Синявского и Даниэля, потом долгие годы находилось под запретом. Далеко не все, читавшие Байрона, Вордсворта, Гюго, Бодлера и Рембо в переводах Петрова, знали, что под этой бесцветной фамилией скрывается автор повести «Говорит Москва». О жизни Юлия Даниэля после ссылки корреспонденту «Газеты» Марии Терещенко рассказала его вдова Ирина Уварова.



Юлий Маркович застал начало перестройки, и все удивлялись, что его имя не стало гиперпопулярно на этой волне интереса к тем, кого притесняла советская власть. Почему он не пытался активно печататься, как-то о себе заявить?

Вы знаете, не всякий человек хочет о себе заявлять. Это дело индивидуальное. На его собственный взгляд, он совершенно осуществился — как переводчик поэзии. Он видел себя в этой профессии, и она была для него вполне самодостаточной. Собственно говоря, это одна из причин, почему он никогда не соглашался на эмиграцию. «Я не могу жить вне своего языка», — говорил он, и разговор шел не о том, что «твоя моя не понимай», а о жизни как таковой. Для него русский язык был источником жизни. Заявлять о себе... Вы поймите, что после процесса имени Синявского и Даниэля стали очень знамениты. А Юлий Маркович был человеком скромным

и благородным — он не нуждался в дополнительных каких-то допингах. Вполне довольствовался своей работой, если ее давали, конечно. Потому что могли и не давать. За какие-нибудь прегрешения.

Вы говорите, ему нравилась роль переводчика, но ведь изначально он был писателем...

Нет, изначально он был школьным учителем, который ушел в переводчики. На вольные хлеба. А как писатель... знаете, он, наверное, осуществился тогда, до процесса. Он мог бы быть писателем, безусловно. Но, как говорил Толстой, если можешь не писать — не пиши. Вот он не мог не переводить, а не писать мог. Ведь он автор фактически двух произведений: «Говорит Москва» и «Искушение». Были еще рассказы. «Ремень», который у него конфисковали при аресте. Был еще рассказ «В районном центре» — про кота-обо-

ротня. Но после возвращения из заключения он не писал. Как мы ни ждали от него дальнейшей прозы.

Это не потому, что его сломал лагерь?

А что тут? Можно было продолжать. Второй-то раз не посадили бы, наверное. Слишком скандал был большой, да и время менялось. Нет, это были какие-то ритмы его собственного существования.

А как он вообще изменился после лагеря? Он ведь сильно изменился?

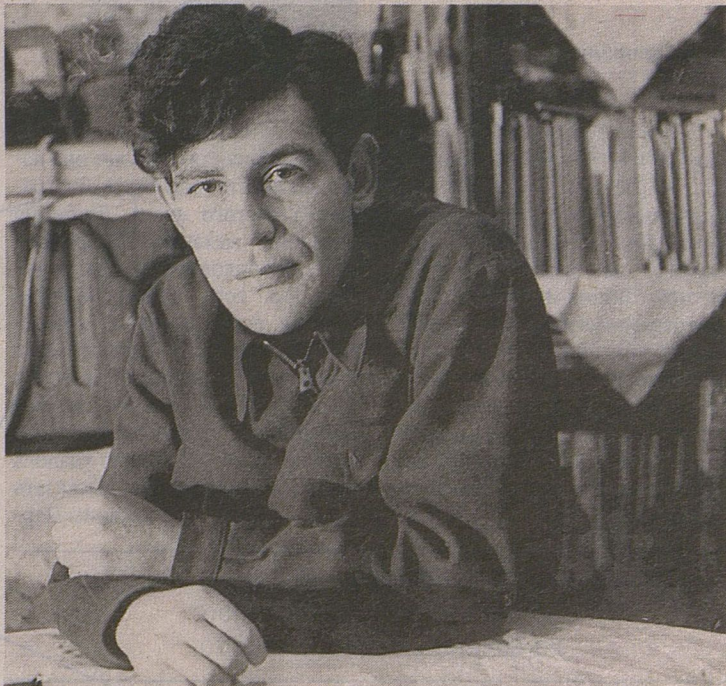
Да, конечно. До заключения он был совершенно явным экстравертом, а после, несмотря на продолжавшееся бурное и активное общение, он все-таки уже тяготел к интровертности. Но сама по себе форма его существования в лагере достойна особого разговора. Несколько лет назад фонд «Мемориал» опубликовал его письма — огромный корпус писем, которые писались, так сказать, городу и миру. Ему все писали, и он всем отвечал. Единственным письмом отвечал всем — друзьям, знакомым, малознакомым. И в этих письмах он всегда держал тон... веселый, что ли. Тон некоторой беспечности, бравады. Чтобы не подумали, что ему там плохо и что его задавила эта ситуация. Это была форма противостояния. Форма ответа на заключение и притеснение.

Хорохорился?

Ну конечно! Хорохориться всегда надо. Это он на воле мог себе позволить один день не побриться, а в лагере никогда. Но судя по тому, что ему всю жизнь потом снился лагерь, и судя по некоторым стихам, написанным в лагере, конечно, ужас этой бездны не миновал его. И он его преодолевал таким образом. Вообще он был очень легким человеком. Легкого удельного веса. И в походке, и в манерах, и в общении с людьми. И даже в письме своем.

А то, что он сильно болел в последние годы жизни, это было связано с лагерем или просто возникли проблемы со здоровьем?

И то, и другое. У него было слабое здоровье, которое лагерь не укрепил, так скажем. Его однажды страшно избили надзиратели. Ему передали с воли жидкость от комаров. А надзиратели налетели, что это не положено.



Он очень боялся комаров — надзирателей не боялся, а комаров боялся. И жидкость не отдавал. Даже прыгнул на стол и стал отбиваться от них ногами. Они его все-таки сманили вниз, швырнули на цементный пол и здорово повредили позвоночник. Через много лет это сказалось. В общем, лагерь — не курорт. У него было фронтовое ранение, сильно повреждена левая рука. А в лагере его поставили на очень тяжелые работы. На станке. У него стал выходить осколок через кожу, и началось воспаление. А лагерный врач сказал, что это он щепку себе загнал. Но это единичные случаи. Так-то все его воспоминания — это радость общения с людьми. Какие-то очень прочные контакты, которые там завязались на всю жизнь.

Он же с политическими исключительно сидел?

Конечно, это были политические. Уголовники туда попадали редко. Бывало, кто-то из них в своем лагере проиграл в карты и со злости напишет на стене: «Долой советскую власть!» Его тут же судили и отправляли в политический лагерь. А так в эту пору там был роскошный букет интеллигенции всех мастей. Там были философы, историки — со всех республик. Прибалтика была очень широко представлена, Грузия, Украина. Они проводили там заседания своих землячеств. Юлия Марковича, кстати, все землячества всегда приглашали. Латыши проводили день Райниса (Ян Райнис — латышский поэт. — «Газета»). Собирались до работы,

совсем на заре, темным утром. Передавали по кругу кружку кофе и читали стихи. У меня даже сохранился билет пригласительный, сделанный там. Они жили сильной духовной жизнью и очень этим поддерживали друг друга. В общем, компания у него там была изысканная.

Вы не ездили к нему в лагерь?

Нет, мы с ним соединились уже после. А письма читали все, и я так же, как все. А уже потом, когда он был в Калуге, тогда мы, наверное, и встретились.

После лагеря он жил в высылке?

Да, это была странная форма какого-то ущемления. Командантский час, нельзя было выезжать в Москву. Но во всем остальном можно было жить достаточно свободно. Все туда к нему ездили — паломничество было огромное. Его все так любили.

Псевдоним Петров, который ему навязали после освобождения, так и сохранялся до конца жизни?

Нет. В то время, когда он переводил Гюго — это была уже середина 80-х, — Евтушенко пришел в издательство и закатил скандал. Никто его не просил — это он сам. Он сказал: «Покажите мне циркуляр, на основании которого вы запрещаете писать слово «Даниэль». Никакой бумаги ему, конечно, не показали. И тогда Юлия Марковича начали печатать под собственной фамилией. Но ему уже оставалось недолго.

Учитель словесности

Писатель и переводчик **Юлий Даниэль** родился 15 ноября 1925 года в Москве в семье писателя М.Н. Мееровича, писавшего на идише под псевдонимом М. Даниэль. Участвовал в Великой Отечественной войне, был тяжело ранен. Работал школьным учителем сначала в Калужской области, затем в Москве. В 1950-х годах занялся переводами поэзии народов СССР. Тогда же начал писать прозу. Самая известная его повесть — «Говорит Москва», которую одни называют антиутопией, другие — сатирой, была опубликована в 1958 году за рубежом. В связи с этой и другими публикациями в «там-издате» в сентябре 1965-го Даниэль и его друг Андрей Синявский были арестованы. Их судили и вынесли обвинительный приговор: Синявскому — 7 лет лишения свободы, Даниэлю — 5. Находясь в заключении, Даниэль писал стихи, создал поэму «А в это время...», делал переводы с латышского языка. После освобождения под псевдонимом Ю. Петров публиковал переводы поэзии Байрона, Гюго, Вордсворта. Умер 30 декабря 1988 года.

15.11.05. Даниэль Юлий Маркович

15.11.05